

### По старому обычаю

Да, Ивану Африкановичу Дрынову крупно повезло: он стал бальваном и любимцем критики. Особенно пленился им тот же молодежный журнал, усердно ищущий строительный материал для возведения высотного здания собственной «философии». Там написали даже так: Иван Африканович — это «патриотический гимн миллионам сеятелей и хранителей русской земли»<sup>3</sup>. За парадом слов было знакомое: давайте спасаться от «просвещенного мещанства», припадем к родникам народной нравственности и национального духа.

Более спокойная — и более распространенная — точка зрения на повесть В. Белова «Привычное дело» может быть выражена, пожалуй, такими словами: «Не часто встретишь в литературе народные характеры, которые равны были бы Ивану Африкановичу и его жене Катерине по глубине и масштабам человеческой духовности... Неизбывная доброта Ивана Африкановича, его почти детская незащищенность, его способность на самые высокие чувства передаются в повести с той естественностью, которая удел только подлинно большой прозы» (Ф. Кузнецов).

С иными оценками в подобного рода характеристиках не приходится, конечно, спорить. Например, с тем, что перед нами — подлинно большая проза. Или с тем, что в Иване Африкановиче есть детская незащищенность и доброта.

Иван Африканович действительно написан В. Беловым с симпатией — с той симпатией, которая всегда возникает, когда человек перед тобой доброжелательный, простодушный, искренний, без зла и гордыни. Все это в Иване Африкановиче есть. Он искренне привязан к Катерине и детям, искренне хочет им

добра, и даже пьяные его чудачества вызывают улыбку сочувствия, трогают своей простодушной, детской бестолковостью.

Но когда все это начинает трансформироваться в «глубины и масштабы человеческой духовности», в «патриотический гимн» и «самые высокие чувства», тут уже, при всем добром к Ивану Африкановичу отношении, какое он только способен к себе по справедливости вызвать, пропадает желание вспоминать лишь о его «детской незащищенности», трогательном простодушии и прочих славных качествах. То же чувство справедливости властно напоминает о другом. О том, что не случайно Иван Африканович написан В. Беловым если и с несомненной симпатией, то одновременно и с глубокой горечью. И что если он для него и не объект сатирической иронии, то вовсе и не икона. Диву даешься: полно, да читали ли восторженные поклонники беловского героя повесть, ее ли имеют в виду? А если ее, то как могли не заметить важную сторону ее действительного смысла?

Пусть не посетует на меня читатель, но я попытаюсь — в одностороннем, так сказать, «полюемически заостренном» порядке — напомнить именно те черты и обстоятельства из жизни Ивана Африкановича Дрынова, мимо которых, стыдно опустив глаза, проходят его воспеватели. Между тем обстоятельства эти и составляют как раз самое существенное в содержании повести, глубинный, внутренний ход ее сюжетного движения. Может быть, тогда понятнее будет, о чем написана эта умная, серьезная книга.

Итак, подумаем прежде всего о «неизбывной доброте», о той, которую не избыть, не исчерпать, потому что она естественна и самозабвенна. О духовности как способности противостоять натиску материального, обстоятельственного, как умении, привычке быть обращенным внутрь, болеть вечными вопросами, хранить в душе идеал и завет. Или иначе поняты на этот раз доброта и духовность?

Все помнят, как в зимнем лесу Иван Африканович подобрал замерзшего воробья, сунул его за пазуху: «Жив ли ты, парень?» И рассудил так: «Тоже жить охота, никуда не денешься. Дело привычное. Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись».

Это трогает, вызывает симпатию к Ивану Африкановичу, и неудивительно, что критика, которой доброта эта не могла не понравиться, зацитировала эту сцену. Но ведь главная «жись» все-таки та, что «под фуфайкой», как ни верти. А складывалась жизнь Ивана Африкановича — не забудем — так.

Катерину Иван Африканович полюбил еще в молодости, давным-давно. И она тоже полюбила его, и все, наверное, было бы ладно, да мать помешала, встала сыну поперек дороги. Не будем пока гадать, по доброте ли, по избытку ли духовности или по инертности и инстинкту подчинения, но женится Иван

Африканович не на Катерине, а на «молчаливой девке»: «...засыпала на его руке тотчас же, бездушная, как нетопленая печь». Была «холодная любовь», без детей.

Потом, как мы знаем, жизнь снова свела его с Катериной, он понял, что она ему указана судьбой, и вот уже Иван Африканович предстает перед нами в окружении семьи в девять душ детей.

Живут Иван Африканович и Катерина как будто бы счастливо. Не ссорятся, растят детей, все у них вместе. Так, когда Иван Африканович по детской своей незащищенности не смог однажды убить петуха, Катерина «сама взяла топор и ловко нарушила петуха».

И изменил Иван Африканович Катерине лишь однажды. Было это так: «... в тот год перед сенокосом Катерина ходила на восьмом месяце, перепил с лицом — бурые пятна, брюхо горой дыбились», и надо же — совратила доброго мужика Дашка-Путанка. Как узнала о том Катерина от детворы, разгледевшей что-то в задах Дашкиного огорода, так «зашлась, забылась в обмороке». Но попросил Иван Африканович прощения — «все и простила». Побежал мужик к соседу на радостях, обменял Библию на гармонию: «Буду, Катюха, тебя веселить...» И веселил.

Повесть открывается пьяным монологом Ивана Африкановича, обращенным к лошади. Эта заплетающаяся речь обнаруживает известные обстоятельства: Иван Африканович везет в сельпо товар, перепил с друзьями, а теперь изливает душу. Но это пока только пролог к дальнейшим приключениям героя. Вместе со своим другом Мишкой Иван Африканович продолжит возлияния, упустит лошадь с санями; посередь ночи повезет друга свататься в ближайшую деревню, будет изгнан, а потом предается раскаянию: «А какое ты дураково поле, Иван Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли родить, увезли чужие люди... Некому бить, некому хлестать». Размышлял так Иван Африканович и понемногу успокаивался. «Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и сладкой жалостью к Катерине».

Иван Африканович — добросердечный человек, он помчится в больницу, будет торчать там два дня и, едва успеет Катерина родить, потащит ее домой, потому что так всем будет лучше и покойнее. А потом он полетит в сельсовет за пособием на девятую дочку и узнает, что с него изрядно вычтут за самовары, разбитые по дороге «беспризорной лошастью».

Надо платить за самовары, вот и побежала Катерина сразу после родов на ферму. «Уж и Иван-то ей говорил — не ходи, поотдохни — нет, побежала».

Не послушалась Катерина доброго совета, побежала, и взяла себе еще работы — уход за телятами, и пришла ей в голову мысль, что мог бы подсобить ей Иван Африканович, но тут

же подумала, что мужика нельзя на скотный двор («вся деревня захочет»), «ему лес да рыба с озером, да и плотничать любит, а ко скотине его и на аркане не затащить».

А вечером «будто кто зажал Катерине рот и начал душить, ослабела враз и ничком опустилась на сухую теплую соломенную подстилку».

Иван Африканович — поэт в душе. Признано, что «естественное состояние» его души — «поэзия природы, поэзия крестьянского труда». Правда, писатель не щедро изобразил этот труд. Разве что привоз товаров в сельпо? Зато мы видим, как Иван Африканович бродит по лесу, любит лисой, «небушкотом», синичками, размышляет о вечности и бренности, о красоте мира. Он свой человек на этой земле, и глаза его обнимают ее и не упираются в подножный корм.

И есть в повести глава «Жена Катерина». О том, как она всю жизнь работала как каторжная, как рушила того петуха, как рожала, как изменил ей Иван Африканович, как болела, как жалела мужа, как терзалась из-за денег. «Как ни прикидывала, как ни раскладывала Катерина теперешние деньги, все получалось, что на питание всей оравушке остается то десятка, то полторы... Может, еще Иван рыбы скоро наловит да в сельпо сдаст?»

До леса ли тут, до синичек ли, до красоты ли земной? Лишь однажды войдет в эту главу примета внешнего мира, свободного от труда и хлопот: «...звезды синели в холодном небе». Катерине некогда разогнуться, поглядеть вверх, звезды — не для нее. Они вроде бы для Ивана Африкановича.

Да, что ни говори, а критике куда легче с Иваном Африкановичем, чем с Катериной. Стоило Ивану Африкановичу побродить по лесу, полюбоваться синичками — и П. Глинкин на страницах «Молодой гвардии» уже пишет: «Сила Ивана Африкановича — в органической, нерасторжимой связи с народом, а красота его характера — в естественности побуждений, богатстве внутренних порывов»<sup>4</sup>.

Попутал Ивана Африкановича родственник-отпускник, воспользовался плохим его настроением, уговорил, и покатали они в Мурманск за рублями, но не выдержал герой повести поездной сутолоки, суеты, ощущения собственной неполноценности и неприкаянности и, не доехав до места, вернулся восвояси, и кто-то из критиков тут же написал о «могучей власти земли, тугой пружинкой возвратившей его в колхоз».

Но пока Иван Африканович ездил, позволили крестьянам накосить сена для своих коров, и Катерина косила, косила, надорвалась и померла.

На могиле жены Иван Африканович плачет: «Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведал тебя — то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенями рябину-то рвать... Да. Вот, девка, вишь, как все оберну-

лось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот один теперь... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости...»

Трагичен этот мужской плач над могилой, трагична эта запоздавшая мольба о прощении...

Иван Африканович — наша надежда? Здоровый народный идеал нравственности? «Душевно развитый человек с обостренным гражданским сознанием»? «В его образе, — как писал тот же П. Глинкин, — воплощен широкий и могучий размах души народа, к которому он принадлежит»?<sup>5</sup>

Увольте.

«Привычное дело» — горькая книга, и тем горше, чем полнее проступают перед нами образы Ивана Африкановича и Катерины, их повседневный быт. Это та деревня, о которой нелегко писать: «спасать» ее или в ней «спасаться», возвращаться в нее или не возвращаться. Она как бы вне этих традиционных волнений и настроений. Судьбы людей ее независимы от наших публицистических объяснений, будто нам сказано о чем-то таком, что вне нашей воли, что заведено издавна, что имеет причины не только внешние, нынешние (покос вовремя не дали)...

Да, историю Ивана Африкановича читаешь с болью и сочувствием, она воистину печальна. И не случайно никто там, в ее пределах, никого не винит. «Горе пластало» Ивана Африкановича «на похолодевшей, еще не обросшей травой земле», и «никто этого не видел». Никто не видел? Да хорошо ли видим это горе и мы, читающие, оценивающие? Ведь не только в смерти Катерины оно, не только в одиночестве, что обрушилось на Ивана Африкановича так внезапно и беспощадно, а изрядно примешано и ко всему течению его жизни, такому, в сущности, привычному.

Эмоциональное впечатление, производимое образом Ивана Африкановича, столь велико и проникающе, что и в голову бы не пришло «судить» его по каким-то особым нормам нравственного бытия, в чем-то укорять его. Урок книги был бы тогда более естественным и органичным: вот человек с печальной участью, вот жизнь его — такая, какая есть, обоснованная не только его личной волей или безволием, добротой или грубостью его чувства, а всем тем материалом и обстановкой жизни, которыми поддерживаются те или иные его качества. Но вот беда и неожиданность, как в знаменитой сказочке К. Чуковского: «свинки замыкали», медведи закукарекали, — вышили пурпурным шелком портрет Ивана Африкановича на хоругви, произведя его наскоро в хранители русского национального духа и народного нравственного богатства и предложив всему обществу бить ему поклоны...

Слава богу, Иван Африканович тут ни при чем, плох он или хорош, но ни при чем. Когда хочется, желаемое всегда мере-

щится, вот и померещилось. Подняли Ивана Африкановича и начали подбрасывать с восторгом, ну а конец известен: уронят и разойдутся.

... Да, странная то была декларация о добродетелях Ивана Африкановича, будто хотели отвлечь читающую публику от чего-то более важного и в этом характере и в современной жизни. Но уже и в том, наверное, польза «независимой национальной мысли», что она побуждает внимательнее восторжиться в то, что скрывается за мнимыми и подлинными достоинствами Ивана Африкановича, заметить свершившийся в повести В. Белова поворот к изображению реальности быта и душевного, нравственного строя человека современной деревни.

Талант В. Белова, его знание деревенского человека позволили ему изобразить крестьянский тип, давно уже не замечаемый нашей литературой, и к тому же представить его с такой художественной и жизненной полнотой, что мы встречаемся с ним, как с живым человеком. В нем много славного, по-человечески притягательного, жизнь его вызывает сострадание и жалость. Но сострадание — еще не апологетика, и жалость не исключает горечи укоризны, беда не снимает вины. И если в нем находят образец, спасительный источник духа и «нравственные ресурсы», то писатель в этом не повинен. Иван Африканович — не одна только отрада русской деревни, тем более не гордость ее.

Повесть В. Белова возвращает нас к земле надежнее, чем все обещания возвращения у иных писателей. Она не зовет «спасать» или «спасаться», она учит видеть и помнить то, что есть.

Деревенская проза в лучших ее образцах, в частности в рассказах и повестях В. Белова и В. Лихоносова не повинна в особом рвении ее комментаторов, в их пафосе, домыслах и преувеличениях. Она непричастна к выпяченной, безвкусной декламации об исключительности и мессианском предназначении русской души. «Матренин двор» вовсе не был сигналом к окутыванию российской деревни праведническим флером, который ныне в большом ходу.

Восторженные фразы о национальном духе и душе нации не очень-то убедительно звучат в современном напряженном мире. Наверное, прав один старый русский писатель, сказавший: «Я, например, представляю себе, что Моцарт и Бетховен в ином мире сейчас беседуют вовсе не со своими соотечественниками Бисмарком и Мольтке, с которыми им полагается быть составными элементами души Германии».

Ясно видеть всегда было трудно, «слепые влюбленности» (П. Чаадаев) — как наши тени, остаться один на один с правдой — счастливый, но трудный удел.

Лучшие книги наших дней о деревне дают талантливую картину реальной жизни, выявляют распространенные и существен-

ные умонастроения времени, продолжают традиции классической русской литературы. Они раздвигают наше знание жизни, разгоняют туман старых иллюзий, они обнадеживают. Наконец, они укрепляют в нас чувство истинного, мужественного патриотизма, свободного от национального высокомерия и чванства и сильного сознанием подлинных достоинств и подлинных недостатков, органической связью с живой жизнью и потребностями сограждан.

1969

<sup>1</sup> Чалмаев В. Философия патриотизма.— «Мол. гвардия», 1967, № 10, с. 277.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, с. 292.

<sup>4</sup> Глинкин П. Земля и асфальт.— «Мол. гвардия», 1967, № 9, с. 251.

<sup>5</sup> Там же.